

По воскресеньям наваливалась особенная тоска. Какая-то нутряная, едкая... Максим физически чувствовал ее, гадину: как если бы неопрятная, не совсем здоровая баба, бессовестная, с тяжелым запахом изо рта, обшаривала его всего руками — ласкала и тянулась поцеловать.

— Опять!.. Навалилась.

— О!.. Господи... Пузырь: туда же, куда и люди, — тоска, — издевалась жена Максима, Люда, неласковая, рабочая женщина: она не знала, что такое тоска. — С чего тоска-то?

Максим Яриков смотрел на жену черными, с горячим блеском глазами... Стискивал зубы.

— Давай матерись. Полайся — она, глядишь, пройдет, тоска-то. Ты лаяться-то мастер.

Максим иногда пересиливал себя — не ругался. Хотел, чтоб его поняли.

— Не поймешь ведь.

— Почему же я не пойму? Объясни, пойму.

— Вот у тебя все есть — руки, ноги... и другие органы. Какого размера — это другой вопрос, но все, так сказать, на месте. Заболела нога — ты чувствуешь, захотела есть — налаживаешь обед... Так?

— Ну.

Максим легко снимался с места (он был сорокалетний легкий мужик, злой и порывистый, никак не мог измотать себя на работе, хоть работал много), ходил по горнице, и глаза его свирепо блестели.

— Но у человека есть также — душа! Вот она, здесь, — болит! — Максим показывал на грудь. — Я же не выдумываю! Я элементарно чувствую — болит.

— Больше нигде не болит?

— Слушай! — взвизгивал Максим. — Раз хочешь понять, слушай! Если сама чурбаком уродилась, то постарайся хоть понять, что бывают люди с душой. Я же не прошу у тебя трешку на водку, я же хочу... Дура! — вовсе срывался Максим, потому что вдруг

ясно понимал: никогда он не объяснит, что с ним происходит, никогда жена Люда не поймет его. Никогда! Распори он ножом свою грудь, вынь и покажи в ладонях душу, она скажет — требуха. Да и сам он не верил в такую-то — в кусок мяса. Стало быть, все это — пустые слова. Чего и злить себя? Спроси меня напоследок: кого я ненавижу больше всего на свете? Я отвечу: людей, у которых души нету. Или она поганая. С вами говорить — все равно что об стенку головой биться.

— Ой, трепло!

— Сгинь с глаз!

— А тогда почему же ты такой злой, если у тебя душа есть?

— А что, по-твоему, душа-то — пряник, что ли? Вот она как раз и не понимает, для чего я ее таскаю, душа-то, и болит. А я злюсь поэтому. Нервничаю.

— Ну и нервничай, черт с тобой! Люди дождутся воскресенья-то да отдыхают культурно... В кино ходят. А этот — нервничает, видите ли. Пузырь.

Максим останавливался у окна, подолгу стоял неподвижно, смотрел на улицу. Зима. Мороз. Село коптит в стылое ясное небо серым дымом — люди согреваются. Пройдет бабка с ведрами на коромысле, даже за двойными рамами слышно, как скрипит под ее валенками тугой, крепкий снег. Собака залает сдуру и замолкнет — мороз. Люди — по домам, в тепле. Разговаривают, обед налаживают, обсуждают ближних... Есть — выпивают, но и там веселого мало.

Максим, когда тоскует, не философствует, никого мысленно ни о чем не просит, чувствует боль и злобу. И злость эту свою он ни к кому не обращает, не хочется никому по морде дать и не хочется удаться. Ничего не хочется — вот где сволочь — маята! И пластом, недвижно лежать — тоже не хочется. И водку пить не хочется — не хочется быть посмешищем, противно. Случалось, выпивал... Пьяный начинал вдруг каяться в таких мерзких грехах, от

которых и людям и себе потом становилось нехорошо. Один раз спяну бился в милиции головой об стенку, на которой наклеены были всякие плакаты, ревел — оказывается: он и какой-то еще мужик, они вдвоем изобрели мощный двигатель величиной со спичечную коробку и чертежи передали американцам. Максим сознавал, что это — гнусное предательство, что он — «научный Власов», просил вести его под конвоем в Магадан. Причем он хотел идти туда непременно босиком.

— Зачем же чертежи-то передал? — допытывался старшина. — И кому!!!

Этого Максим не знал, знал только, что это — «хуже Власова». И горько плакал.

В одно такое мучительное воскресенье Максим стоял у окна и смотрел на дорогу. Опять было ясно и морозно, и дымились трубы.

«Ну и что? — сердито думал Максим. — Так же было сто лет назад. Что нового-то? И всегда так будет. Вон парнишка идет, Ваньки Малофеева сын... А я помню самого Ваньку, когда он вот такой же ходил, и сам я такой был. Потом у этих — свои такие же будут. А у тех — свои... И все? А зачем?»

Совсем тошно стало Максиму... Он вспомнил, что к Илье Лапшину приехал в гости родственник жены, а родственник тот — поп. Самый натуральный поп — с волосьями. У попа что-то такое было с легкими — болел. Приехал лечиться. А лечился он барсучьим салом, барсуков ему добывал Илья. У попа было много денег, они с Ильей часто пили спирт. Поп пил только спирт.

Максим пошел к Лапшиным.

Илюха с попом сидели как раз за столом, попивали спирт и беседовали. Илюха был уже на развезях — клевал носом и бубнил, что в то воскресенье, не в это, а в то воскресенье он принесет сразу двенадцать барсуков.

— Мне столько не надо. Мне надо три хороших — жирных.

— Я принесу двенадцать, а ты уж выбирай сам — каких. Мое дело принести. А ты уж выбирай сам,

каких получше. Главное, чтоб ты оздоровел... а я их тебе приволоку двенадцать штук...

Попу было скучно с Илюхой, и он обрадовался, когда пришел Максим.

— Что? — спросил он.

— Душа болит, — сказал Максим. — Я пришел узнать: у верующих душа болит или нет?

— Спирту хочешь?

— Ты только не подумай, что я пришел специально выпить. Я могу, конечно, выпить, но я не для того пришел. Мне интересно знать: болит у тебя когда-нибудь душа или нет?

Поп налил в стаканы спирт, придвинул Максиму один стакан и графин с водой:

— Разбавляй по вкусу.

Поп был крупный шестидесятилетний мужчина, широкий в плечах, с огромными руками. Даже не верилось, что у него что-то там с легкими. И глаза у попа — ясные, умные. И смотрит он пристально, даже нахально. Такому — не кадилом махать, а от алиментов скрываться. Никакой он не благодетель, не постный — не ему бы, не с таким рылом, горести и печали человеческие — живые, трепетные нити — распутывать. Однако — Максим сразу это почувствовал — с попом очень интересно.

— Душа болит?

— Болит.

— Так, — поп выпил и промокнул губы крахмальной скатертью, уголочком. — Начнем подъезжать издалека. Слушай внимательно, не перебивай, — поп откинулся на спинку стула, погладил бороду и с удовольствием заговорил:

— Как только появился род человеческий, так появилось зло. Как появилось зло, так появилось желание бороться с ним, со злом то есть. Появилось добро. Значит, добро появилось только тогда, когда появилось зло. Другими словами, есть зло — есть добро, нет зла — нет добра, Понимаешь меня?

— Ну, ну.

— Не понужай, ибо не запрет еще, — поп, видно, обожал порассуждать вот так вот — странно, далеко

и безответственно. — Что такое Христос? Это воплощенное добро, призванное уничтожить зло на земле. Две тыщи лет он присутствует среди людей как идея — борется со злом.

Илюха заснул за столом.

— Две тыщи лет именем Христа уничтожается на земле зло, но конца этой войне не предвидится. Не кури, пожалуйста. Или отойди вон к отдушине и смоли.

Максим погасил о подошву сигарку и с интересом продолжал слушать.

— Чего с легкими-то? — поинтересовался для вежливости.

— Болят, — кратко и неохотно пояснил поп.

— Барсучатина-то помогает?

— Помогает. Идем дальше, сын мой занюханый...

— Ты что? — удивился Максим.

— Я просил не перебивать меня.

— Я насчет легких спросил...

— Ты спросил: отчего болит душа? Я доходчиво рисую тебе картину мироздания, чтобы душа твоя обрела покой. Внимательно слушай и постигай. Итак, идея Христа возникла из желания победить зло. Иначе — зачем? Представь себе: победило добро. Победил Христос... Но тогда — зачем он нужен? Надобность в нем отпадает. Значит, это не есть нечто вечное, непреходящее, а есть временное средство, как диктатура пролетариата. Я же хочу верить в вечность, в вечную огромную силу и в вечный порядок, который будет.

— В коммунизм, что ли?

— Что коммунизм?

— В коммунизм веришь?

— Мне не положено. Опять перебиваешь!

— Все. Больше не буду. Только ты это... понятней маленько говори. И не торопись.

— Я говорю ясно: хочу верить в вечное добро, в вечную справедливость, в вечную Высшую силу, которая все это затеяла на земле. Я хочу познать эту силу и хочу надеяться, что сила эта — победит. Иначе —

для чего все? А? Где такая сила? — Поп вопросительно посмотрел на Максима. — Есть она?

Максим пожал плечами:

— Не знаю.

— Я тоже не знаю.

— Вот те раз!..

— Вот те два. Я такой силы не знаю. Возможно, что мне, человеку, не дано и знать ее, и познать, и до конца осмыслить. В таком случае я отказываюсь понимать свое пребывание здесь, на земле. Вот это как раз я и чувствую, и ты со своей больной душой пришел точно по адресу: у меня тоже болит душа. Только ты пришел за готовеньким ответом, а я сам пытаюсь дочерпаться до дна, но это — океан. И стаканами нам его не вычерпать. И когда мы глотаем вот эту гадость... — поп выпил спирт, промокнул скатертью губы, — когда мы пьем это, мы черпаем из океана в надежде достичь дна. Но — стаканами, стаканами, сын мой! Круг замкнулся — мы обречены.

— Ты прости меня... Можно я одно замечание сделаю?

— Валяй.

— Ты какой-то... интересный поп. Разве такие попы бывают?

— Я — человек, и ничто человеческое мне не чуждо. Так сказал один знаменитый безбожник, сказал очень верно. Несколько самонадеянно, правда, ибо при жизни никто его за бога и не почитал.

— Значит, если я тебя правильно понял, бога нет?

— Я сказал — нет. Теперь я скажу — да, есть. Налей-ка мне, сын мой, спирту, разбавь стакан на двадцать пять процентов водой и дай мне. И себе тоже налей. Налей, сын мой простодушный, и да увидим дно! — Поп выпил. — Теперь я скажу, что бог — есть. Имя ему — Жизнь. В этого бога я верую. Это — суровый, могучий Бог, Он предлагает добро и зло вместе — это, собственно, и есть рай. Чего мы решили, что добро должно победить зло? Зачем? Мне же интересно, например, понять, что ты пришел ко мне не истину выяснять, а спирт пить. И сидишь тут, напрягаешь глаза — делаешь вид, что тебе интересно слушать...

Максим пошевелился на стуле.

– Не менее интересно понять мне, что все-таки не спирт тебе нужен, а истина. И уж совсем интересно, наконец, установить: что же верно? Душа тебя привела сюда или спирт? Видишь, я работаю башкой, вместо того чтобы просто пожалеть тебя, сиротиночку мелкую. Поэтому, в соответствии с этим моим богом, я говорю: душа болит? Хорошо. Хорошо! Ты хоть зашевелился, ядрена мать! А то бы тебя с печки не стащить с равновесием-то душевным. Живи, сын мой, плачь и приплясывай. Не бойся, что будешь языком сковородки лизать на том свете, потому что ты уже здесь, на этом свете, получишь сполна и рай и ад, – поп говорил громко, лицо его пылало, он вспотел. – Ты пришел узнать: во что верить? Ты правильно догадался: у верующих душа не болит. Но во что верить? Верь в Жизнь. Чем все это кончится, не знаю. Куда все устремилось, тоже не знаю. Но мне крайне интересно бежать со всеми вместе, а если удастся, то и обогнать других... Зло? Ну – зло. Если мне кто-нибудь в этом великолепном соревновании сделает бяку в виде подножки, я поднимусь и дам в рыло. Никаких – «подставь правую». Дам в рыло, и баста.

– А если у него кулак здоровей?

– Значит, такая моя доля – за ним бежать.

– А куда бежать-то?

– На кудыкину гору. Какая тебе разница – куда?

Все в одну сторону – добрые и злые.

– Что-то я не чувствую, чтобы я устремлялся куда-нибудь, – сказал Максим.

– Значит, слаб в коленках. Паралитик. Значит, доля такая – скулить на месте.

Максим стиснул зубы... Вьелся горячим злым взглядом в попа.

– За что же мне доля такая несчастная?

– Слаб. Слаб, как... вареный петух. Не вращай глазами.

– Попяра!.. А если я сейчас, например, тебе дам рязок по лбу, то как?

Поп громко, густо – при больных-то легких! – расхохотался.

– Видишь! – показал он свою ручищу. – Надежная: произойдет естественный отбор.

– А я ружье принесу.

– А тебя расстреляют. Ты это знаешь, поэтому ружье не принесешь, ибо ты слаб.

– Ну – ножом пырну. Я могу.

– Получишь пять лет. У меня поболит с месяц и заживет. Ты будешь пять лет тянуть.

– Хорошо, тогда почему же у тебя у самого душа болит?

– Я болен, друг мой. Я пробежал только половину дистанции и захромал. Налей.

Максим налил.

– Ты самолетом летал? – спросил поп.

– Летал. Много раз.

– А я летел вот сюда первый раз. Грандиозно! Когда я садился в него, я думал: если этот летающий барак навернется, значит, так надо. Жалеть и трусить не буду. Прекрасно чувствовал себя всю дорогу! А когда он меня оторвал от земли и понес, я даже погладил по боку – молодец. В самолет верую. Вообще в жизни много справедливого. Вот жалеть: Есенин мало прожил. Ровно – с песню. Будь она, эта песня, длинней, она не была бы такой щемящей. Длинных песен не бывает.

– А у вас в церкви... как заведут...

– У нас не песня, у нас – стон. Нет, Есенин... Здесь прожито как раз с песню. Любишь Есенина?

– Люблю.

– Споем?

– Я не умею.

– Слегка поддерживай, только не мешай.

И поп загудел про клен заледенелый, да так грустно и умно как-то загудел, что и правда защемило в груди. На словах «ах, и сам я нынче чтой-то стал нестойкий» поп ударил кулаком в столешницу и заплакал, и затряс гривой.

– Милый, милый!.. Любил крестьянина!.. Жалел! Милый!.. А я тебя люблю. Справедливо? Справедливо. Поздно? Поздно...

Максим чувствовал, что он тоже начинает любить попа.

— Отец! Отец... Слушай сюда!

— Не хочу! — плакал поп.

— Слушай сюда, колода!

— Не хочу! Ты слаб в коленках...

— Я таких, как ты, обставлю на первом же километре! Слаб в коленках... Тубик.

— Молись! — поп встал. — Повторяй за мной...

— Пошел ты!..

Поп легко одной рукой поднял за шкурку Максима, поставил рядом с собой.

— Повторяй за мной: верую!

— Верую! — сказал Максим.

— Громче! Торжественно: ве-ру-ю! Вместе: ве-ру-ю-у!

— Ве-ру-ю-у! — заблажили вместе.

Дальше поп один привычной скороговоркой зачастил:

— В авиацию, в механизацию сельского хозяйства, в научную революцию-у! В космос и невесомость! Ибо это объективно-о! Вместе! За мной!..

Вместе заорали:

— Ве-ру-ю-у!

— Верую, что скоро все соберутся в большие воюющие города! Верую, что задохнутся там и побегут опять в чисто поле!.. Верую!

— Верую-у!

— В барсучье сало, в бычачий рог, в стоячую оглоблю-у! В плоть и мякоть телесную-у!..

...Когда Илюха Лапшин продрал глаза, он увидел: громадина поп мощно кидал по горнице могучее тело свое, бросался с маху впрысядку и орал и нахлопывал себя по бокам и по груди:

— Эх, верую, верую!

Ту-ды, ту-ды, ту-ды — раз!

Верую, верую!

М-па, м-па, м-па — два!

Верую, верую!..

А вокруг попа, подбоченясь, мелко работал Максим Яриков и бабьим голосом громко вторил:

— У-тя, у-тя, у-тя — три!

Верую, верую!

Е-тя, е-тя — все четыре!

— За мной! — восклицал поп.

— Верую! Верую!

Максим пристраивался в затылок попу, они, приплясывая, молча совершали круг по избе, потом поп опять бросался впрысядку, как в прорубь, распаивал руки... Половицы гнулись.

— Эх, верую, верую!

— Ты-на, ты-на, ты-на — пять!

Все оглобельки — на ять!

Верую! Верую!

А где шесть, там и шерсть!

Верую! Верую!

Оба, поп и Максим, плясали с такой с какой-то злостью, с таким остервенением, что не казалось и странным, что они пляшут. Тут или плясать, или уж рвать на груди рубаху и плакать и скрипеть зубами.

Илюха посмотрел-посмотрел на них и пристроился плясать тоже. Но он только время от времени тоненько кричал: «Их-ха! Их-ха!» Он не знал слов.

Рубаха на попе — на спине — взмокла, под рубахой могуче шевелились бугры мышц: он, видно, не знал раньше усталости вовсе, и болезнь не успела еще перекусить тугие его жилы. Их, наверно, не так легко перекусить: раньше он всех барсуков слопаёт. А надо будет, если ему посоветуют, попросит принести волка пожирнее — он так просто не уйдет.

— За мной! — опять велел поп.

И трое во главе с яростным, раскаленным попом пошли, приплясывая, кругом, кругом. Потом поп, как большой тяжелый зверь, опять прыгнул на середину круга, прогнул половицы... На столе задрезжали тарелки и стаканы.

— Эх, верую! Верую!.. ■